

Статьи этой книжки об'единены общей литературно-политической задачей: разоблачить кулацкие тенденции в художественной литературе. Написаны они в разное время. Первая, под названием «Россеяне», была опубликована мною в периодической печати в 1928 г. С тех пор имел место целый ряд «вылазок» правооппортунистической критики и анализируемых мною писателей как в связи с моими статьями и устными выступлениями (в особенности на прошлогоднем пленуме ВОКП), так и самостоятельных. Разгорелась полемика.

В соответствии с этим первая часть книжки посвящена анализу художественного творчества кулацких писателей, вторая — носит полемический характер. Цель этой полемики — сделать попытку социального обоснования понятия «крестьянский писатель» и отмежевать от крестьянской литературы классово-враждебных писателей, оперирующих деревенской тематикой.

КУЛАЦКАЯ ЛИРИКА

Она еще доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, шаньгами по «престольным» праздникам, с обязательными тараканами, с запечным медлительным, распаренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апеллирующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махровым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим антуражем.

Еще живет «россеянство», своеобразно дошедшее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой попрежнему, по старинке, в «особый» путь развития, в народ-«богоносец», с погружением в «философические» глубины мистического «народного духа» и красоты «национального» фольклора.

В современной поэзии наиболее сильными представителями такого «россеянства» являются: Клычков, Клюев и Орешин (Есенин — в прошлом).

Было бы ошибкой рассматривать их только как эпигонов последышей. Они утверждаются в поэзии идеологическими представителями кулачества. Характерные черты их творчества представляют собой рупор, через который усиливается голос определенной классовой группы, судорожно старающейся отстоять свои экономические, а значит бытовые и психологические позиции.

Вместе с отчаянной борьбой на экономических, «базисных» позициях капиталистические, кулацкие слои пытаются через идеологию, через художественную литературу в частности, идти в скрытую, а иногда и открытую атаку против позиции пролетариата.

Конечно первое, что мы обнаруживаем в творчестве поэтов-«россеян», это «благоевейную» идеализацию прошлого.

Естественно, что традиции для кулачества являются основой основ. Только вековечное сохранение дедовских укладов дает гарантии спокойного существования. Революция — она конечно хороша тем, что отдала крестьянину землю, и тем в частности, что вырвала кулачество из лап более классово-сильного накопителя — помещика; но весь «быт» после революции обязательно должен остаться старым, исконным. «Россеяне» принимают революцию как барыш в крестьянском хозяйстве, но переход к новым хозяйственным формам, а тем более механизация, кооперирование, коллективизация — это все «от лукавого», от «бездушного» нового. В поэтическом творчестве такой взгляд находит свое отражение в идеализации старины, в утверждении Руси на месте СССР.

Откроем наудачу книжку С. Клычкова «Талисман» и сопоставим несколько выдержек с установкой на слово «Русь»:

„Когда дремлет весенняя Русь“ (11).
„Как почит под сумраком Русь“ (34).
„Пылает призрачная Русь“ (63).
„За чудесною рекою
Вижу: дремлет Русь,
И разбитою рукою
Я крещусь, крещусь“.

Эти выдержки, сопоставленные между собой, дают определенную картину «мироощущения» пишущего. Старая, кондовая Русь жива. Только «обстоятельства» нашего времени, условия

«лихолетия» задернули ее неким флером, туманом, придали еще более тоскливые очертания формам «извечной» ее душевной тоски. Она продолжает жить как будто призрачной, но вполне реальной жизнью. Ее выкорчевывает СССР, но она утверждает свое существование, как некий таинственный, богоспасаемый град Китеж на дне злого омута. Поэтому столь характерны определения этой Руси у ее апологета, у ее верного печального певца С. Клычкова: «сумрак», «призрачность», «дремота», «туман».

Наш вывод не произволен. Для Клычкова Русь не изменилась, вернее, он не хочет, чтобы она изменилась, и жалобно причитает:

*„Та же Русь, без конца и без края,
И над нею дымок голубой,
Что же я не пою, а рыдаю
Над людьми, над собой, над судьбой“¹.*

В этом-то и трагедия защитника и баяна реакционного прошлого, что хочет он видеть Русь тою же, а на самом деле она не та. Это плач над обреченной на слом лапотной, старозаветной Русью.

Весь «Талисман» звучит елеиным причитанием над призраком, над трупом, над последними останками Руси. Писатель, относящийся к группе, выбитой из классового седла, видит свою историческую родину—«пылающую призрачную Русь»—уже только сквозь лирическую призму обреченности. Пессимизм пронизывает всю книгу, и сколько себя Клычков ни уговаривает, что «та же Русь без конца и без края», — он все же уже «не поет, а рыдает».

Слезам злости оплакивает Клычков погибающую патриархально-кабальную Русь и осушает эти слезы только для того, чтобы выкинуть боевые, хоть и завуалированные, лозунги борьбы с настоящим. Уступает ли в этом отношении настроенность Орешина Клычкову? Обязаны ли мы в отношении Орешина делать какие-то иные выводы? Я думаю, что Орешин уже своей книгой «Родник» (1927 г.) и в особенности воистину «Откровенной (!) лирой» (1928 г.) идеологически сравнялся с Клычковым. Может быть какую-то дифференциацию здесь и надо провести, но это уже оттенки внутри кулацкой идеологии. Дифференциация столь тонкая, что мы имеем право ею пренебречь. В стилистическом отношении по разнородности темпераментов, если хотите, Клычков—представитель мисти-

¹ Здесь и в дальнейшем курсив везде мой—О. Б.

ческого россеянства, а Орешин — россеянин реалистический. Его пиетет, его нежная и почтительная любовь к прошлому, помимо всего прочего, пошлее, примитивнее, тривиальнее выражены, чем у Клычкова.

Когда он говорит о СССР, о Советской стране, он недвусмысленно величает нас «Советскою Русью» и провозглашает за эту самую Русь достаточно «своеобразный» тост:

*„За Русь Советскую, за боль.....
За желтых кленов медь.
— А что же мы не можем што ль
Российским прозвенеть!“*

За Русь Советскую и тут же, через запятую, «за боль...» за умирание, осеннее увядание и рядом пафос залихватского российского ухаля (возлюбленный т. Полонским ухаля-купец!) — в качестве противопоставления.

В том же стихотворении («Соловей в отставке») он в лирических выражениях, но вполне откровенно говорит, что происходящий сейчас общественный процесс — это умирание подлинного (старозаветного), что наше настоящее — скованность, зима, смерть. Россия трещит по швам, соловьи замерзают, застывает сердце, словом, почти конец мира.

*„И на Руси такой мороз,
Что вся она по швам.
И холодно в снегах берез
Нам, сельским соловьям“.*

И хочется «костром веселым догореть, как догорает Русь». Веселье и радость, как видите, атрибут Руси, а СССР ассоциирован с болью, медью осенних кленов. Множить эти примеры можно без конца. Я хотел бы только остановиться еще на одном стихотворении Орешина, где дана уже подлинно программная установка. Это стихотворение называется «Смех» (датировано оно 1927 г.).

*„Не мне смеяться и над тем, что было,
Что горьким цветом всех нас веселило,
Что не вернется никогда назад.
Все прошлое прекрасно и любимо,
Его уж нет, оно неповторимо,
Оно погасло, как случайный взгляд.
Пусть еще чудачит в поле сжатом
Гармонь с вином, худой горшок с ухватом,
Пусть свой век дотлакивает Русь,
Над головой остывшей и покорной,
Над прахом лет, над старостью позорной,
Я никогда во век не посмеюсь“.*

Как видите, говорит настоящий почтительный сын старой Руси: над матерью смеяться не дам; пусть уходит, погибает, но погибает прекрасная, святая...

Могут возразить, что эти поэты и прозаики родились на старой Руси, любят живописать старую Русь,—грех, мол, не так уж велик. Такое утверждение—обывательское, даже примитивно не ассоциирующее утверждение. Пиетет перед патриархальной, рабовладельческой Русью говорит сам за себя. Это плацдарм, с которого ведется обстрел ненавистной советской современности. В творчестве анализируемых писателей мы обнаруживаем целую гамму оттенков выражения этой лютой классовой ненависти к современности, начиная от лирических lamentаций и вплоть до откровенных политических деклараций.

Чрезвычайно любопытна здесь позиция Орешина, того самого Орешина, на защиту которого против критиков, предъявлявших ему политическое обвинение, выступали очень уважаемые органы печати, введенные в заблуждение способностью Орешина терминологически приноровляться. Кулацкий тембр его голоса непрерывно крепнет за последние годы. Он в достаточной степени уже силен в «Роднике», а в «Откровенной лире» перед нами уже законченная реакционная фигура. В поисках «корней» беру из «Родника» стихотворение «Василек», представляющее некое лирическое вступление к орешинской оценке современности. Это биографический крик души поэта в 1926 г., смятение перед черной современностью, противопоставляемой в а с и л ь к о в о м у прошлому. На грани одиозного для кулачества 1927 г. Орешин лирически вопит о безвыходности для него современного существования:

*„Васильковым светом
Озаренный в срок,
Быть бы мне поэтом
Голубых дорог.
Но пора настала:
Некуда идти,
И зоря пропала
На моем пути.
И никто уж боле
Не покличет в дом...
И упал я в поле
Черным васильком“.*

Пресекаются возможности кубышечного накопительства, во все время цементирувавшегося на Руси «душевностью», лежавшей в основе кабальной патриархальности. «Широкая

русская душа», специфические особенности душевного «россеянского» склада всегда были ширмой, заслоняющей подлинные классовые отношения. Сирий, убогий, блаженненький возводились на пьедестал, и в пьяных слезах над ними истекала удовлетворением кулацкая и помещичья душа, а руки этой «души» драли этого сирого батогамми.

Орешин, как и все кулацкие писатели, в эсеровски слезливых выражениях обвиняет наше время в том, что оно вытравило душу, любовь человеческую. «Народ» тоскует, «народ» не обласкан... (еще в 1924 г. он писал о бессмысленной жизни, которой не поможет брань, ибо «над каждой головой повисла и замутнела глухомань»).

Одним словом, в наше время человек забыт, обезличен. Здесь обывательски «народолюбческая» формула Орешина является невинно обывательской только внешне. Во всем контексте его творчества она направлена против политики советской власти, заменившей «душу», «ласковость» и «уют» патриархальщины—классовой борьбой в деревне. Это чрезвычайно интересная, своеобразная форма защиты кулака.

„Пылать душой теперь не в моде,
А я люблю душевный пыл,
Вот почему *тоску в народе*
Я увидел и полюбил.
Судьбой с рождения назначен
Вести земному горю счет,
Я с удовольствием *поплачу*
За необласканный народ“.

Разве сквозь эти строки приbedнившегося в первые годы революции, а ныне откровенного Орешина не проступает кондовый ключевский «душевный» российский прототип:

„Есть на Руси живые дремы,
Невозмутимый светлый сад!
Он в вербной слезке, в думе бабьей,
В богоявлении наяву“.

Крестьянскую современность нельзя рассматривать вне существующих форм классовой борьбы. Пролетариат, опираясь на бедноту, преодолевает колебания середняка, руководит широчайшими массами крестьянства и организует их на борьбу против капиталистических элементов деревни. Пролетарский город идет в деревню, город переделывает экономическо-политическими мероприятиями крестьянское сознание. Кладется известный предел возможностям капиталистического накопления на основе индивидуального, регрессивного кабального хозяйства.

Кулак изолируется. Кулачество как класс уничтожается. Город стимулирует организацию коллективных хозяйственных объединений, ввозит машину, организует колхозы и совхозы, машинно-тракторные станции, кооперирует.

Естественно, что ненависть кулацкой литературы к современности сконцентрирована особенно ярко именно в ненависти к городу.

Вырастающие на основе новых социалистических общественных отношений техника, наука подрывают основы возможности «тихого», старозаветного хозяйственного существования деревни, иерархического существования. Этой кабальной иерархичности грозит удар, и центр, из которого идет этот удар—город. За городами стоят промышленность, машина, техника, наука, т. е. то, что мы кладем в основу всего хозяйственного и политического развития и чем мы мостим дорогу к развертывающемуся социализму.

Ярость ко всему этому городскому комплексу—центр всей философии этих писателей. Раздавались голоса: «Ну, что вы нападаете: это чистые лирики, ведь они цветы любят, природу любят!». Мы были бы сто раз идиотами, если бы декретировали запрещение любить природу, наслаждаться природой, холить ее. Да делай что хочешь, наслаждайся цветочками, сажай их у себя под окном, если место есть. Но такая защита выдает политическое головоунытие защитников. Это та самая простота, которая хуже воровства. Ибо любовь к природе в творчестве этих писателей—только антитеза ненависти к городу, фабрике, машине, пролетариату, а синтез—это власть кулачья, построенная на богом данной природе.

Вы говорите, уважаемые защитники, цветочки любят? А с какими декларациями, с какими другими образами кооперируются эти цветочки—проглядели?

„Как яркий спрут, ползет по свету
Слепая мертвенная сталь.
Ужели вам, как мне, поэты,
Цветка измятого не жаль?“

Это не просто цветочки: от таких цветочков в зобу от гнева дыхание смирает! Эти цветочки должны подчеркнуть, раскрыть мертвенность, «противоестественность» индустриального развития и «выдуманных людей», продавшихся «железному чорту». А примитивчики пусть защитники оставят для своих право-оппортунистических деклараций и статей!...

Этих писателей прежде всего пугает темп городской жизни, городская динамика. Этот темп—показатель того городского напора, той городской «экспансии», которая ненавистна кулацкой деревне. Динамика городской жизни положительно приводит их в отчаяние.

Эта боязнь иногда принимает анекдотические формы, как например в стихотворении Орешина «Трамвай». Он наблюдает спешащую выходящую публику и думает: «Куда им, чтобы посидеть, вьюга под трамваем воеет, как медведь». И уж настоящий вопль в его «Отдыхе»: «Хорошо среди лесов и полей отдохнуть от неласковых дней и от шума больших городов, и от звона железных оков».

Как далеки эта любовь к природе и ненависть к городу от идиллического руссоистского представления о них некоторых горе-критиков, порочащих марксизм. Думаю, что на одних разговорах о талантливости и богатстве фольклорных образов нашим Полонским больше ездить не придется. Придется кое-что додумать.

Горе-любители талантливого пейзажа не дали себе труда разглядеть в этом творчестве оскаленные клыки озлобленного кулачья, эпигонов, недоносков-«богатырей» феодальной Руси, ополчившихся на все основы нашего строительства, подрывающих в «высокой художественной форме» самое основное, самое насущное для нашего времени.

Ведь недаром жгучая ненависть к городу опосредствуется у кулацких писателей в злобе к машине. Это она, сдвигающая патриархальное, пресекающая широчайшие кабальные возможности, нарушающая вековую соотнесенность кровавого пота бедняка с доброй «душевной услужливостью» кулака меньшому брату (основа основ россеянского воспевания души)—это она виновница нарушения хищнического, накопительского, от веку положенного и долженствующего существовать до тех пор, «пока земля на другой бок повернется», уклада.

Извлекая из нафталина истории старенькую, замусоленную руссотяпскую формулу—что русскому здорово, то немцу смерть—пустоватый и примитивный Орешин изрекает:

„Пускай кичатся заморяне
Своим *железным* животом;
Степные русские крестьяне,
Мы *радостью* другой живем“.

Машина, железо—страшный конкурент возлюбленной кулацкой деревянной сохи.